

молот», — выстроились в несколько рядов на раскисших обочинах, на которых и так частоколом стояла милиция в квадратных плащах. Огонь передавали по эстафете, нам пришлось полтора часа ждать под дождем (откуда-то было известно, что мимо нас побегут в четыре, но побежали только в пять). Очень хорошо я помню белые с золотыми ободками факелы и сам огонь, почти невидимый; как раз напротив нас происходила смена бегунов — они менялись каждые сто метров, — и я хорошо разглядел факелы и майки с символикой. С символикой тогда было все, включая только что купленный (долго копили) и уже сломавшийся цветной телевизор «Рубин». Потом долго возвращались по глинистой дороге вдоль пруда, скользота была страшная, я основательно промок даже в болоньевом плаще, и по этому случаю мне было разрешено — дабы согреться и не заболеть — выпить стакан «Гымзы». Сейчас этого болгарского вина почти никто не помнит, хотя бутылки из-под него иногда обсуждаются в интернете — например на сайте «Музей ненужных вещей»; такая бутылка, в зеленой пластмассовой оплетке, по сей час хранится на даче, в ней мы держим постное масло. Эту-то бутылку мы и распили тем вечером, и хотя вино было основательно кислым, ощущение было праздничным. Вообще мне казалось, что такое напряжение всех сил, какое было перед Олимпиадой, обязательно окажется последним или во всяком случае переломным, и появившаяся тогда же отечественная жвачка, специально олимпийская, апельсиновая и клубничная, это ощущение усиливала. Она была невкусной, жесткой, стремление выглядеть совсем цивилизованными, вплоть до жвачки, производило довольно жалкое впечатление, а обилие олимпийских анекдотов (в частности, про Брежнева, «читавшего» олимпийские кольца, — «О! О! О! О! О!») превращали все это в совершенный уже гротеск, да прибавьте слухи о том, что из Москвы силком выселили всех ненадежных, проституток выслали за сто первый километр, родителям рекомендовали куда угодно вывезти детей, дабы избежать общения с иностранцами, — в общем, двенадцатилетним людям

было совершенно понятно, что пройден какой-то принципиальный рубеж. Особенно было обидно, что мы так старались притвориться ими, выпустили жвачку, а нам бойкот. Настоящие слезы — причем у всех, включая отпетых циников, — были, когда смотрели закрытие и улетал Мишка. Ну это вообще был ужас. Все набились к соседям, у которых был телевизор (у них же была умственно отсталая внучка, которую всегда было особенно жалко, и она плакала громче всех, словно предчувствуя, что бабушка с дедушкой скоро умрут, дачу продадут, и ее не будут больше туда вывозить), и все смотрели, как до свиданья наш ласковый Миша (пели это, насколько помню, Лещенко с Толкуновой), и это было невыносимо. Погоду на этот день сделали прекрасную — то ли тучи разогнали, то ли с Богом договорились, — а на следующий день опять зарядило. Как это все связано со смертью Высоцкого, я объяснить не могу, но такой был эмоциональный фон. Ко всему этому странно примешивалось чувство облегчения, потому что предоллимпийское напряжение давило на всех, даже сильнее, чем в этом году. Что касается песен самого Высоцкого, у меня была довольно большая коллекция, из которой мне больше всего нравились «Песня про старый дом на Новом Арбате» (нравится и до сих пор, хотя по теме и тону она скорей оруджавская) и «Баллада о борьбе» (она, насколько помню, не вошла в «Стрелы Робин Гуда», будучи вставлена туда только потом, но он пел ее на нескольких концертах). Еще я очень любил «Татуировку» — главным образом за языковой фортель в конце: «Что моя, верней, твоя татуировка...». Оруджава нравился мне больше, как и теперь, но я отчетливо понимал, что ввести в ярость он, например, не может, а мне это состояние иногда было нужно — хотя бы для той же школы. Интересно, что Новеллу Матвееву я тогда не знал совсем — а когда узнал, она немного подвинула даже Оруджаву. Высоцкого было не то что жалко — жалко его не было никогда, в отличие от Советского Союза, который явно дышал на ладан и, при всей своей омерзительности, должен был смениться чем-то худшим, возможно, заслу-

женным. Жалко было, что Высоцкий из живого и сложного человека, который присутствовал рядом, менялся, метался, развивался и еще много чем мог удивить, — на глазах превращается в икону. Раньше он давал выход лучшему, что было в людях запрятано, а теперь будет давать выход худшему, — это чувствовалось очень отчетливо, хотя, может быть, и не формулировалось. Во всяком случае истерика, начавшаяся вокруг его имени, очень отвращала, а появившиеся сразу издания — словно нельзя было на полгода раньше выпустить диск-гигант с песнями в аранжировках Гараняна, словно нельзя было издать «Нерв», ксерокс которого подарила мне наша учительница математики, молодая, увлекавшаяся самодеятельным театром и сыроедением, вся желтая от морковного сока, — эти издания обесценивались именно посмертностью, ее невыносимым лицемерием, и ужасно было предисловие Роберта Рождественского о том, как он ненавидит публику престижных премьер. Я это дословно запомнил, потому что тоже ненавидел публику престижных премьер, но не обо всем надо говорить в предисловиях к Высоцкому, и за фанатов своих он отвечал в наименьшей степени. Что ж поделать, если тогда наивысшие шансы попасть на премьеры были у зубных техников, а то и водопродчиков. Стихотворение Евтушенко «Киоск звукозаписи» появилось почти сразу и стало сенсацией — «Володя, ах как тебя вдруг полюбили со стереомагами автомобили! Толкнул прошашлыченным пальцем кассету — и пой, даже если тебя уже нету»; оно тоже производило не очень приятное впечатление, поскольку там появилось обращение на «мы» — «петь для того, кого мы презираем», — то есть как бы желание примазаться к смерти. Однако были там чудесные строчки, которые точнее всего характеризовали тогдашнее настроение, — этой точности у Евтушенко не отнять: «Киоск звукозаписи около пляжа. Жизнь кончилась — и началась распродажа». Это самое и случилось в восьмидесятом году, и не только с Высоцким, и продолжается до сих пор.

